

«Весь мир, вся земля смотрит на него, — писал о Льве Николаевиче Толстом А. М. Горький, — ...отсюда к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда!»

Естественно, что мемуарная литература, посвященная Л. Н. Толстому, весьма обширна. Наиболее значительные свидетельства о встречах и общении с великим писателем собраны в двухтомнике «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». В ближайшее время в издательстве «Художественная литература» выходит в свет его новое издание (составители Г. Краснов и Н. Фортунатов, автор вступительной статьи К. Ломунов). Оно дополнено по сравнению с предыдущим целым рядом материалов, впервые вводимых в широкий читательский обиход.

Сегодня мы печатаем подборку из этих воспоминаний. Публикацию подготовил доктор филологических наук Г. Краснов.

Е. Е. ЛАЗАРЕВ

Егор Егорович Лазарев (1855—1937) в 70—80-е годы участия народного движения, политический ссыльный. Познакомился с ним Толстой через управляющего самарских имением А. А. Бибинова, привлеченного по делу Каракозова, а затем раздавшего свою землю крестьянам. Интерес Толстого к радикально мыслящим людям особенно возрастал в годы духовного перелома, в период обострения поисков смысла человеческого существования. В Поссе, знавший Лазарева, рассказывал: «Толстой его очень полюбил: сначала как мужика, какому он был как по происхождению, так и по натуре, а затем и как революционера. Он вывел его в своем романе «Воскресение» под фамилией Наботов, характеризовав его ярко и верно».

МОЕ ЛИЧНОЕ знакомство с Львом Николаевичем началось в 1882 или 1883 году, когда он со старшим сыном Сереем и его учителем В. И. Алексеевым приехал в свое самарское имение в башкирской степи. Прожили мы там две недели на лоне природы, в большой, разнообразной и интересной компании.

Имение это не походило на обычные барские имения. Кругом степь необъятная. Ни в имении, ни близ имения нет ни села, ни деревни. Барская усадьба — небольшой флигель с некоторыми службами да ряд башкирских юрт для гостей и кумысников, которые по знакомству приезжали сюда каждый год, главным образом интеллигенция. Близ дома стояла специальная башкирская юрта, в которой приготавливался кумыс

Евгений СКАЙЛЕР

Евгений Скайлер (1840—1890) — дипломат, историк, переводчик, в 1866—1868 гг. американский консул в Москве, член русского географического общества. Еще до встречи с Толстым Скайлер был дружен с Тургеньевым, переводил его роман «Отцы и дети». Перевел также «Казанов» Толстого.

ТАК КАК мы вечера и часть утра проводили в кабинете графа, наполненном книгами, разговор, естественно, касался литературы. В промежутках я помогал ему приводить в порядок его библиотеку, большую часть которой занимали старые французские книги, доставшиеся ему после отца или деда, но в ней находились также лучшие произведения литературы Англии, Франции, Германии и Италии, не говоря о русских книгах и завидном собрании сочинений о Наполеоне и его времени, которыми он пользовался для «Войны и мира».

Из сих последних мне удалось впоследствии получить некоторые. К несчастью, я не сохранил большей части моих заметок о наших литературных разговорах. Некоторые мнения, однако, произвели на меня сильное впечатление.

Толстой был весьма высококого мнения об английских повестях, не только в художественном отношении, но и в особенности за их натурализм — слово, бывшее тогда в большом ходу.

Во французской литературе, — говорил он, — я ценю выше всего романы Александра Дюма и Поля де Кока.

На это я смотрел с изумлением. — Нет, — отвечал он, — не говорите мне ничего о той бессмыслице, что Поль де Кока безразличен. Он, по английским понятиям, несколько не-

и в которой специалист башкир угощал всех желающих пить кумыс — каждого по рознь и целой компанией, с раннего утра и до поздней ночи. Казалось, что он имеет неисчерпаемое море кумыса...

Артельное кумысное питание совершалось правильно два два в день. Два раза в день компания собиралась для обеда и ужина. Обряд приятия виши и кумыса совершался медленно и сопровождался самыми душевными разговорами, спорами и даже ссорами между «идеалистами» и «материалистами». К этим совместным пиришествам ежедневно приходил Лев Николаевич, которому больше всего приходилось защищаться от насмек молодых сил. Нередко, однако, он уносился в прошлое или приводил художественную иллюстрацию своего положения, при которой все спорщики смолкали и, разинув рты, жадно впились в рассказы молодого, сверкающего глазами.

С величайшим восторгом я вспоминаю до сих пор эти недели, проведенные в обществе Льва Николаевича... Здесь, в степи, все как-то естественно жили враспылку. Любители, даже дамы, ходили босиком. Сам Лев Николаевич чувствовал себя превосходно. В нашей молодой компании он modeled сам, проникнулся игривостью и смиренно выносил ярые нападения молодежи за свой неумеренный идеализм... И молодежь, и сам Лев Николаевич разражались часто заразительным смехом, когда 17-летняя курсистка с яростью нападала на него, доказывая, что Лев Николаевич не знает настоящей жизни и рассуждает, как невинное дитя. Молодой князь Оболенский, товарищ Сереем, неизменно стоял за эту курсистку, находя, что она всегда права...

«В МОЛОДОЙ КОМПАНИИ...»

В один день ко мне неожиданно явился на свидание... А. А. Бибинов в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибинов возвращался вскоре назад в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность пообщаться со мной. Иногда он сам приходил на свидание ко мне вместе с матерью. А когда она наконец уехала, Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни. Здесь наконец мы могли говорить исключительно о наших личных взглядах в настроенных.

Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в споры, причем доставались на орехи и «консервативному» графу.

Помню случаи. Однажды молодежь нападала, Толстой защищался. Спорили сначала спокойно и весело, потом разгорячились, все стали говорить колкости. Вдруг, посреди битвы и всеобщего возбуждения, Лев Николаевич встает и с дрожью в голосе просит у всех прощения за то, что он нас рассердил... вывел из себя...

Не могу забыть того чудного чувства горячей нежной любви к Льву Николаевичу, которое охватило тогда всю нашу компанию. У него тоже были слезы на глазах. Тотчас после этой сцены мы снова все ушли на траву, и Лев Николаевич стал нам оживленно рассказывать различные анекдоты из своей преж-

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

ней жизни, несколько не стесняясь в выражениях и присутствием девиц...

21 июля 1884 года я был неожиданно арестован в своем селе и спешно доставлен в самарскую тюрьму. Здесь мне объявили постановление от 8 июля того же года о ссылке меня административным порядком в Восточную Сибирь сроком на три года... Я прибыл в Москву, в Бутырскую тюрьму, лишь 22 августа — на другой день по отходе последней политической партии этого года в Сибирь, так что мне пришлось ждать в Бутырках до весны, до первой партии будущего года, то есть до мая месяца...

В один день ко мне неожиданно явился на свидание... А. А. Бибинов в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибинов возвращался вскоре назад в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность пообщаться со мной. Иногда он сам приходил на свидание ко мне вместе с матерью. А когда она наконец уехала, Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни. Здесь наконец мы могли говорить исключительно о наших личных взглядах в настроенных.

Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в споры, причем доставались на орехи и «консервативному» графу.

Помню случаи. Однажды молодежь нападала, Толстой защищался. Спорили сначала спокойно и весело, потом разгорячились, все стали говорить колкости. Вдруг, посреди битвы и всеобщего возбуждения, Лев Николаевич встает и с дрожью в голосе просит у всех прощения за то, что он нас рассердил... вывел из себя...

Не могу забыть того чудного чувства горячей нежной любви к Льву Николаевичу, которое охватило тогда всю нашу компанию. У него тоже были слезы на глазах. Тотчас после этой сцены мы снова все ушли на траву, и Лев Николаевич стал нам оживленно рассказывать различные анекдоты из своей преж-

ней жизни, несколько не стесняясь в выражениях и присутствием девиц...

21 июля 1884 года я был неожиданно арестован в своем селе и спешно доставлен в самарскую тюрьму. Здесь мне объявили постановление от 8 июля того же года о ссылке меня административным порядком в Восточную Сибирь сроком на три года... Я прибыл в Москву, в Бутырскую тюрьму, лишь 22 августа — на другой день по отходе последней политической партии этого года в Сибирь, так что мне пришлось ждать в Бутырках до весны, до первой партии будущего года, то есть до мая месяца...

В один день ко мне неожиданно явился на свидание... А. А. Бибинов в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибинов возвращался вскоре назад в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность пообщаться со мной. Иногда он сам приходил на свидание ко мне вместе с матерью. А когда она наконец уехала, Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни. Здесь наконец мы могли говорить исключительно о наших личных взглядах в настроенных.

Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в споры, причем доставались на орехи и «консервативному» графу.

Помню случаи. Однажды молодежь нападала, Толстой защищался. Спорили сначала спокойно и весело, потом разгорячились, все стали говорить колкости. Вдруг, посреди битвы и всеобщего возбуждения, Лев Николаевич встает и с дрожью в голосе просит у всех прощения за то, что он нас рассердил... вывел из себя...

Не могу забыть того чудного чувства горячей нежной любви к Льву Николаевичу, которое охватило тогда всю нашу компанию. У него тоже были слезы на глазах. Тотчас после этой сцены мы снова все ушли на траву, и Лев Николаевич стал нам оживленно рассказывать различные анекдоты из своей преж-

ней жизни, несколько не стесняясь в выражениях и присутствием девиц...

21 июля 1884 года я был неожиданно арестован в своем селе и спешно доставлен в самарскую тюрьму. Здесь мне объявили постановление от 8 июля того же года о ссылке меня административным порядком в Восточную Сибирь сроком на три года... Я прибыл в Москву, в Бутырскую тюрьму, лишь 22 августа — на другой день по отходе последней политической партии этого года в Сибирь, так что мне пришлось ждать в Бутырках до весны, до первой партии будущего года, то есть до мая месяца...

В один день ко мне неожиданно явился на свидание... А. А. Бибинов в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибинов возвращался вскоре назад в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность пообщаться со мной. Иногда он сам приходил на свидание ко мне вместе с матерью. А когда она наконец уехала, Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни. Здесь наконец мы могли говорить исключительно о наших личных взглядах в настроенных.

Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в споры, причем доставались на орехи и «консервативному» графу.

Помню случаи. Однажды молодежь нападала, Толстой защищался. Спорили сначала спокойно и весело, потом разгорячились, все стали говорить колкости. Вдруг, посреди битвы и всеобщего возбуждения, Лев Николаевич встает и с дрожью в голосе просит у всех прощения за то, что он нас рассердил... вывел из себя...

Не могу забыть того чудного чувства горячей нежной любви к Льву Николаевичу, которое охватило тогда всю нашу компанию. У него тоже были слезы на глазах. Тотчас после этой сцены мы снова все ушли на траву, и Лев Николаевич стал нам оживленно рассказывать различные анекдоты из своей преж-

ней жизни, несколько не стесняясь в выражениях и присутствием девиц...

21 июля 1884 года я был неожиданно арестован в своем селе и спешно доставлен в самарскую тюрьму. Здесь мне объявили постановление от 8 июля того же года о ссылке меня административным порядком в Восточную Сибирь сроком на три года... Я прибыл в Москву, в Бутырскую тюрьму, лишь 22 августа — на другой день по отходе последней политической партии этого года в Сибирь, так что мне пришлось ждать в Бутырках до весны, до первой партии будущего года, то есть до мая месяца...

Я улыбнулся утвердительно.

Лев Николаевич молчал и из-под своих длинных бровей все время смотрел на молодую пару, которая сидела близко друг к другу, крепко сцепившись руками.

Но Лев Николаевич не унывал.

— Как, — снова спрашивал он, — неужели им не позволяют остаться одним... вместе спать не дают?

Я вновь улыбнулся при мысли о такой наивности и признаюсь, был немножко смущен, потому что Лев Николаевич говорил это своим обычным ровным голосом, отнюдь не понижая его при своем шекотливом вопросе...

Мы оба продолжали молчать, потому что все его внимание перенеслось на молодую пару. Я не прерывал молчания, ибо видел, что он о чем-то напряженно думает. Наконец, решив прервать молчание, я взглянул на него и был несказанно смущен: по щекам его текли слезы, и глаза, полные слез, постоянно мигали.

Слез своих он не вытирает. — Какое варварство! — произнес он, вставая вместе со всеми, когда свидание кончилось и все стали прощаться.

Весной 1885 года мы выехали из Москвы, и наши непосредственные сношения с Львом Николаевичем прекратились. Но с эгипетского пути, из Иркутска, я написал ему длинное письмо с описанием знаменитой шестнадцатидневной голодовки четырех женщин каторжанок... Я долго не знал о судьбе этого письма: дошло ли оно? Лишь четыре года спустя мне пришлось идти вновь этапом в Сибирь с лицами, взятыми в подпольной типографии за печатание моего описания иркутской голодовки. От них я узнал, что Лев Николаевич не держал его в секрете...

Л. Е. ОБОЛЕНСКИЙ

Леонид Егорович Оболенский (1845—1906) — писатель, в 1883—1891 гг. издатель либерально-народнического журнала «Русское богатство».

К статьям Оболенского Толстой относился настоятельно и не принимал их либеральных выводов. Но он ценит издательскую деятельность Оболенского, возлагал на него надежды, когда обдумывал планы издания для народа.

ВО ВТОРОЙ раз я был в Толстого летом, и тут мне пришлось видеть, как страстно он любил своих детей, хотя теоретически тогда же развивал мне мысль, что любить следует «детей по духу, а не по плоти»...

Дело было так: Толстой был предупрежден о моем приезде и ждал меня, поэтому я был очень удивлен, когда, приехав к нему в назначенный час, не застал его дома. Я сказал об этом лакею и назвал свою фамилию. — А вот Лев Николаевич просил или немножко обожать их, или, если вам угодно, пойти им навстречу: они здесь недалеко ходят вон по тому переулку, — лакей указал. — А молодой графине профессор Склифосовский делает операцию сегодня. Так Лев Николаевич очень беспокоился, что долго не возвращается, не утерпел и пошел в тот переулок; оттуда видна дорога...

Я вошел навстречу Толстому, думая о том, что, быть может, в этой тревоге ему будет легче не оставаться одному. Но он уже входил на крыльцо, очень обрадовываясь мне, рассказал, чем встревожен, пояснил, что операция — самая ничтожная, нужно срезают какую-то олуху величайшей с горшину, но что это все же его очень беспокоит. — Долго же еду! Но ждате еще хуже! — прибавил он. — Ну, что нового?

Я передал ему письмо, но он не стал читать его. Как он объяснил мне после, волнение помешало бы ему прочесть письмо с удовольствием, так как письмо было от человека, которого он очень любил.

— Сядем пока вот здесь, — сказал Лев Николаевич, вводя меня в комнату младшего сына, которая была рядом с прихожей, выходила окнами во двор и, следовательно, из нее можно было еще издали услышать треск экипажа, когда лошадь будет возвращаться. Оно во двор было открыто. Толстой слушал меня и сам говорил очень внимательно, но внутренняя тревога сказывалась в его поблудневшем лице, в глазах, которые часто обращались к окну, наконец, в напряженности, с какой он постоянно прислушивался к отдаленным звукам.

— Едут! — вдруг вскрикнул он и, как мальчик, вскочил и побежал во двор, а затем и на улицу.

Через несколько минут он вернулся сияющий, счастливый.

— Все кончилось благополучно! — сказал он мне. — Да и операция была самая пустая. Вы уж извините ме-

ня, что я так неожиданно вас покинул. Знаете ли что? Я так обрадован этим счастливым окончанием операции, что не могу сидеть на месте. А вечер отличный! Хотите, пойдем в «Нескучный». Он в нескольких шагах от меня, если перебраться на лодке. Я часто туда заглядываю.

Мы вышли и скоро очутились на берегу реки. Старик лодочник знал Льва Николаевича, и они перекинулись несколькими приветствиями.

— Вот теперь я прочту письмо, — сказал Лев Николаевич и тут только объяснил мне причину, почему не читал его раньше.

«КАКАЯ ЖИВОСТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ...»

Действительно, оно его порадовало. Он даже прочел мне вслух некоторые отрывки...

Мы вышли из противоположный берег и скоро были в «Нескучном», с его тенистыми аллеями. Толстой говорил, что последние дни редко бывает дома, посещая в тюрьме заключенных (из молодежи), на что получил разрешение. Он находил их весьма интересными и некоторыми необыкновенно симпатичными. Рассказывал, как не однажды ему приходилось заговариваться с ними дольше установленного срока. Во время этой именно прогулки он развивал мне мысль о том, что следует больше любить детей по духу, а не по плоти...

В его словах было что-то мечтательное, милое, нежно-ностальгическое, чего я прежде никогда не замечал в нем. Он совсем не принадлежал к мечтательным и мягким характерам. Но на этот раз проявилась способность его богатой природы к этому настроению: ведь это был особенный день, когда благополучно окончилась его тревога, когда он получил письмо от милого, хорошего человека. Наконец, была чудесная весна, соловьи пели кругом.

— Будем здесь пить чай, — сказал Лев Николаевич, когда мы достаточно нагулялись и наговорились и даже немножко устали. — Здесь есть самоварница, и у одной я частенько пью здесь чай. Очень интересная старушка...

Мы возвратились домой, когда уже начинало темнеть... На другой день я опять был у Льва Николаевича. Вместе со мной пришел известный художник Пришвиной. Принял нас двое из детей Толстого, сообщив, что он окончил корректуру отдельного издания «Анны Карениной» и сейчас выедет.

— Обычно эти корректуры просматривает мама, — говорили молодые хозяева, занимая нас разговорами, — но сегодня пришлось их делать самому отцу, а мама поехала ко всеобщей.

Скоро вышел и Лев Николаевич. Он улыбнулся и сказал полушутя:

— Вот сейчас должен был

поневолу корректировать свою «Анну Каренину» и все время думал: в какой это дурной человек (Толстой выразился гораздо резче) написал такую гадость!

Мы, конечно, протестовали, но он в том же шутилом роде рассказал нам в виде показательства разговор с ним одной московской барыни, и даже своей дальней родственницы.

— Ах, как я вам благодарна, Лев Николаевич, — говорила она, — за вашу «Анну Каренину». Я всегда была самого дурного мнения о влиянии высшего света на молодых девушек! Я не хотела их вывозить до тех пор, пока они не установятся в своих взглядах и привычках. Но когда прочла ваш роман, я совершенно изменила свое мнение и хочу вывозить их вышней зимой...

Он громко засмеялся и снова спросил нас:

— Ну, разве я не прав был, сказав, что этот роман написал очень дурной человек?..

Через несколько минут Лев Николаевич заявил, что в такой вечер жаль сидеть в комнате, и повел нас в сад.

Здесь мы долго ходили по густой аллее, причем Толстой, увлекаясь разговором, иногда шел, повернувшись спиной вперед, и один раз чуть не упал, занувшись за дерновый бордюр дорожки.

Я не решаюсь передать здесь чисто литературной части этого разговора, в котором Лев Николаевич делал меткую оценку и характеристику некоторых современных писателей. Быть может, он не желал бы, чтобы его мнения об этом были напечатаны.

Я спросил его мнение о Золя, и он сознался, что после «Нана», которой он мог считать, так как она возмутила его, он не читает этого романиста. Я похвалил ему «Угрюмопов», сказав, что со времени «Нана» многое изменилось в романах этого писателя. Толстой выразил живое намерение прочесть новый роман.

Вот после этого я видел во второй раз, как плачет этот удивительный человек. Он стал нам рассказывать самый простой случай. Есть у них в деревне лужок, где много фиалок, и вот он со своей семьей собирал эти фиалки. В это время прошел индийский мальчик-крестьянин с пустым мешком на плече.

— Прощо, не знаю сколько времени, — продолжал Толстой, — но, должно быть, немало. И вот мы увидели опять того же мальчика. Он возвращался обратно, маленький, истощенный, усталый. Мешок его был наполнен ломтиками хлеба, собранными по деревням. Он изгибался под его тяжестью и едва передвигал ноги! А мы все это время фиалки собирали!

Крупные слезы покатылись по его лицу. Он смолкнул, и долго мы ходили по аллее молча, не решаясь нарушить его молчаливой грусти. Какая огромная яркость и живость впечатлений должна быть у этого человека! И какая сила чувства, какая нервность!..

Речь идет о романе Э. Золя «Жерминаль».



Л. Н. Толстой на ярмарке среди крестьян. Село Ломчи Орловской губернии. Фото В. Г. ЧЕРТКОВА

А. Т. ЗЯБРЕВ

Александр Титович Зябрев — уроженец крестьянин, семья которого хорошо знала Толстого.

ОДНАЖДЫ, когда мне было около двенадцати лет, стерегли мы на Воронке лошадей, и всем нам явилась охота сходить к Льву Николаевичу, но не зная, как затеять, чтобы не без дела прийти к нему. А в это время Лев Николаевич записывал крестьян по желанию в общество трезвости. И надумали мы спросить книжечку и записаться в общество трезвости.

Приходим к дому и оста-

КНИЖКИ ДЛЯ НАРОДА

вич нас прослушал, начал он нам рассказывать про какой-то пустой барабан! а мы слушали. Когда он кончил рассказ, то спросил: — Вы поняли? — Говорим: — Поняли. — Так вот, расскажите мне по порядку то, что я вам рассказал, — и Лев Николаевич заставил рассказывать



Л. Н. Толстой с семьей в имении Ломчи, Орловской губернии. Фото В. Г. ЧЕРТКОВА

...участник народного движения... политический... Показатель... с ним Толстой через управляющего самарским имением А. А. Бибинова, привлеченного по делу Каракозова, а затем раздавшего свою землю крестьянам.

Интерес Толстого к радиально мыслящим людям особенно возрастал в годы духовного перелома, в период обостренных поисков смысла человеческого существования. В. Поссе, знавший Лазарева, рассказывает: «Толстой его очень полюбил; сначала как мужика, а потом как человека по натуре, а затем и как революционера. Он вывел его в своем романе «Воскресение» под фамилией Набатов, характеризовав его ярко и верно».

МОЕ ЛИЧНОЕ знакомство с Львом Николаевичем началось в 1882 или 1883 году, когда он со старшим сыном Сереем и его учителем В. И. Алексеевым приехал в свое самарское имение в бакирской степи. Прожили мы там две недели на лоне природы, в большой, разнообразной и интересной компании.

Именно это не походило на обычные барские имения. Кругом степь необозятая. Ни в имении, ни близ имения нет ни села, ни деревни. Барская усадьба — небольшой флигель с некоторыми службами да ряд бакирских юрт для гостей и кумыспиков, которые по знамению приезжали сюда каждый год, главным образом интеллигенция. Близ дома стояла специальная бакирская юрта, в которой готовились кумысы.

Евгений СКАЙЛЕР

Евгений Скайлер (1840 — 1890) — дипломат, историк, переводчик. В 1866 — 1868 гг. американский консул в Москве, член русского географического общества. Еще до встречи с Толстым Скайлер был дружен с Тургеневым, перевел его роман «Отцы и дети». Перевел также «Казанов» Толстого.

ТАК КАК мы вечера и часть утра проводили в кабинете графа, наполненном книгами, разговор, естественно, касался литературы. В промежутках я помогал ему приводить в порядок его библиотеку, большую часть которой занимали старые французские книги, доставшиеся ему после отца или деда, но в ней находились также лучшие произведения литературы Англии, Франции, Германии и Италии, не говоря о русских книгах и завидном собрании сочинений о Наполеоне и его времени, которыми он пользовался для «Воины и мира». Из сих последних мне удалось впоследствии получить некоторые. К несчастью, я не сохранил большей части моих заметок о наших литературных разговорах. Некоторые мнения, однако, произвели на меня сильное впечатление.

Толстой был весьма высококого мнения об английских повестях, но только в художественном отношении, по особенностям за их натурализм — слово, бывшее тогда в большом ходу.

— Во французской литературе, — говорил он, — я ценю выше всего романы Александра Дюма и Поля де Кока.

На это я смотрел с изумлением...

— Нет, — отвечал он, — не говорите мне ничего о той бессмыслице, что Поль де Кок безразличен. Он, по английским понятиям, несколько неприличен. Он более или менее то, что французы называют *leste et gaulois*², но никогда не безразличен. Что бы он ни говорил в своих сочинениях и вопреки его маленьким вольным шуткам, направление его совершенно нравственное. Он — французский Диккенс. Характеры его все заимствованы из жизни и также совершенны. Когда я был в Париже, я обыкновенно проводил половину дней в оминбуше, забавляясь просто наблюдением жизни народа; и могу вас уверить, что каждого из пассажиров я находил в одном из романов Поля де Кока. А что касается до Дюма, каждый из романтиков должен знать его сердце. Интриги у него чудесные, не говоря ничего об отделе: я могу его читать и перечитывать, но завязки и интриги составляют его главную цель...

¹ Воспоминания Е. Скайлера печатаются в переводе с английского языка Л. Г. Петковской.

² Легкомысленный и вольный (франц.).

ион. Казалось, что он имеет неисчерпаемое море кумысы... Артельное кумысное питание совершалось правильно раза два в день. Два раза в день компания собиралась для обеда и ужина. Обряд принятия пищи и кумысы совершался медленно и сопровождался самыми душевными разговорами, спорами и даже ссорами между «идеалистами» и «материалистами». К этим сочинительным пришествам ежедневно приходил Лев Николаевич, которому больше всего приходилось защищаться от наскоков молодых сил. Нередко, однако, он уносился в прошлое или приводил художественную иллюстрацию своего положения, при которой все спорщики смолкали и, разинув рты, жалко впадались в рассказчика молодыми, сверкающими живыми глазами.

С величайшим восторгом я вспоминаю до сих пор эти недели, проведенные в обществе Льва Николаевича... Здесь, в степи, все как-то естественно жили враспоясу. Любители, даже дамы, ходили босиком. Сам Лев Николаевич чувствовал себя превосходно. В нашей молодой компании он молодец сам, пренебрегал ивровитостью и смиренно выносил ярые нападки молодежи за свой умеренный идеализм... И молодежь, и сам Лев Николаевич раздражались часто заразительным смехом, когда 17-летняя курящаяся с яростью нападала на него, доказывая...

Мы говорили о современных русских писателях, и, естественно, разговор пал и на его собственные сочинения, о которых он отзывался с большою откровенностью...

«Казанов», как уверял меня Толстой, была истинная история и была рассказана ему однажды неким офицером, ночью, когда они вместе путешествовали и даже не на Кавказе, а на севере России. То, что он написал, было, впрочем, только первая часть, и он все надеялся когда-нибудь дописать остальную. Вообще, может быть, это и лучше; как часть, она в этом виде превосходна; это индлия, а не подлая история.

ЯСНО-ПОЛЯНСКИЕ БЕСЕДЫ

Я говорил Толстому о первом моем знакомстве с Тургеневым в Бале-Бадене, за год перед тем, который советовал мне, если я желаю сделать нечто значительное, перевести «Казанов», которых он считал прелестнейшим и совершеннейшим произведением русской литературы. Я просил Толстого дать мне позволение на перевод, которое и было охотно дано...

Помогая Толстому приводить в порядок его библиотеку, я помню, что собранию сочинений Ауэрбаха было дано первое место на первой полке, и, выпув два тома «Ein neues Leben»³, Толстой сказал мне, чтобы я прочел их, когда лягу спать, как весьма замечательную книгу, и прибавил:

— Этому писателю я был обязан, что открыл школу для моих крестьян и заинтересовался народным образованием. Когда я во второй раз отправился в Европу, я посетил Ауэрбаха, не называя себя. Когда он вошел в комнату, я сказал только: «Я Евгений Бауман», и когда он показал сомнение, я поспешил добавить: «Не действительно по имени, но по характеру»⁴, и тогда я сказал ему, кто я, как сочинения его заставили меня думать и как хорошо они на меня подействовали.

Случай привел меня следующим зимою провести несколько дней в Берлине, где...

³ «Новая жизнь», роман немецкого писателя Вертольда Ауэрбаха.

⁴ Евгений Бауман — народный учитель, герой романа «Новая жизнь».

«В МОЛОДОЙ КОМПАНИИ...»

В один день ко мне неожиданно явился на свидание... А. А. Бибинов в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибинов возвращался вскоре назад в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность подольше видеться со мной. Иногда он сам приходил на свидание ко мне вместе с матерью. А когда она наконец уехала, Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни. Здесь наконец мы могли говорить исключительно о наших личных взглядах и настроениях.

Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в ссоры, причем доставалось на орехи и «консервативному» графу.

Помню случаи. Однажды молодежь нападала, Толстой защищался. Спорили сначала спокойно и весело, потом разгорячились, все стали говорить колкости. Вдруг, среди битвы и всеобщего возбуждения, Лев Николаевич встает и с дрожью в голосе просит у всех прощения за то, что он нас рассердил... вывел из себя...

Не могу забыть того чудного чувства горячей нежной любви к Льву Николаевичу, которое охватило тогда всю нашу компанию. У него тоже были слезы на глазах. Тотчас после этой сцены мы снова все устали на траву, и Лев Николаевич стал нам оживленно рассказывать различные анекдоты из своей прежней жизни и общее доверие друг к другу — все это давало полный простор проявлению широкой русской натуре. — Бей по голове дауллаву хинную птицу! — кричала на всю степь молодежь. — Не тронь и клопа! — отвечал Толстой.

Свидания нам давали в общем зале, где одновременно происходили свидания других заключенных с их родными и знакомыми. Лев Николаевич внимательно рассматривал всех присутствующих и спрашивал меня обо всех... Однажды во время свидания Лев Николаевич обратил особое внимание на молодую пару воркующих голубков — алминистративно-ссыльного Ивана Николаевича Присеяного с женой, с которой он доверчался в киевской тюрьме, когда та, будучи невестой, жила на воле. Она приехала теперь в Москву, чтобы следовать за мужем в ссылку.

— Как, — спрашивает Лев Николаевич, — значит, они до сих пор остаются на положении жениха и невесты?..

В гостеприимном доме американского посланника Банкрофта я имел удовольствие встретить Ауэрбаха, с которым во время моего пребывания в России мы хорошо познакомилась. В разговоре о России мы говорили и о Толстом, и я напомнил ему об этом случае.

— Да, — сказал он, — я всегда вспоминаю, как я испугался, когда этот странно глядевший господин сказал мне, что он Евгений Бауман, потому что я боялся, что он будет грозить мне за пискание или диффамацию.

«Ein neues Leben» естественным образом подала нам повод говорить о крестьянских условиях и вообще о крестьянском сословии, о результатах эмансипации... Школа Толстого была свободна во многих отношениях, потому что не было никакого покушения вводить порядок или дисциплину, а преподавались только такие предметы, которые интересовали учеников; и только насколько этот интерес продолжался. Большим вопросом, но его мнению, было: чему можно учить и как учить?

— В разрешении этих вопросов мне помогал род педагогического такта, какой я имел, особенно вследствие моей ревности к делу.

«Войдя тотчас в самые тесные личные сношения с сорока маленькими людьми, составлявшими мою школу (я называю их маленькими людьми потому, что нашел в них те же самые черты: проницательность и большое знание практической жизни, веселость, простоту, непосредственность, присущие вообще русским крестьянам); усматривая их впечатлительность и готовность приобрести то знание, которое им нужно, я немедленно почувствовал, что старое церковное училище отжило свой век, и не последовало ему. После этого я пробовал методы, предлагаемые педагогическими писателями, особенно немецкими, и нашел, что они не годятся, и тем более — особенно где старались учить наглядно или по слуху — были не по вкусу ученикам, которые часто над этим смеялись. Принятое было противно моему взгляду, и поэтому, когда я находил, что предмет не нравится, я искал нечто такое, чему ученики были рады учиться. В то же время я испытывал, каким бы путем лучше обучить даже этим предметам...»

При обсуждении метода преподавания Толстой указал на три начала, как основные: «Учитель всегда невольным образом при преподавании употребляет ту методу, которая ему самому более удобна. Более удобная для учителя всегда менее удобная для учеников. Единственно хорошая метода та, которая удовлетворяет учеников...»

дущего года, то есть до мая месяца...

Я вновь улыбнулся при мысли о такой чуждости и признаюсь, был немощно смущен, потому что Лев Николаевич говорил это своим обычным ровным голосом, отнюдь не понижая его при своем шекотливом вопросе... Мы оба продолжали молчать, потому что все его внимание перенеслось на молодую пару. Я не прерывал молчания, ибо видел, что он о чем-то напряженно думает. Наконец, решив прервать молчание, я взглянул на него и был несказанно смущен: по щекам его текли слезы, и глаза, полные слез, постоянно мигали.

Слез своих он не вытирает. — Какое варварство! — произнес он, вставая вместе со всеми, когда свидание кончилось и все стали прощаться.

Весной 1885 года мы выехали из Москвы, и наши непосредственные сношения с Львом Николаевичем прекратились. Но с эталоню пути, из Иркутска, я написал ему длинное письмо с описанием знаменитой шестнадцатидневной голодовки четырех женщин каторжанок... Я долго не знал о судьбе этого письма: дошло ли оно? Лишь четыре года спустя мне пришлось идти вновь этапом в Сибирь с лицами, взятыми в подпольной типографии за печатание моего описания иркутской голодовки. От них я узнал, что Лев Николаевич не держал его в секрете...

Я пошел навстречу Толстому, думая о том, что быть может, в этой тревоге ему будет легче не оставаться одному. Но он уже входил на крыльцо, очень обрадовываясь мне, рассказал, чем встревожен, пояснил, что операция — самая ничтожная, нужно сделать какую-то опухоль величине с горошину, но что это все же его очень беспокоит. — Долго не едут! Но ждать еще хуже! — прибавил он. — Ну, что новенького? Я передал ему письмо, но он не стал читать его. Как он объяснил мне после, волнение помешало бы ему прочесть письмо с удовольствием, так как письмо было от человека, которого он очень любил.

— Сядем пока вот здесь, — сказал Лев Николаевич, вводя меня в комнату младшего сына, которая была рядом с прихожей, выходила окнами во двор и, следовательно, из нее можно было еще издали услышать треск экипажа, когда дочь будет возвращаться. Окно во двор было открыто. Толстой слушал меня и сам говорил очень внимательно, но внутренняя тревога сказывалась в его поблдевшем лице, в глазах, которые часто обращались к окну, наконец, в напряженности, с какой он постоянно прислушивался к отдаленным звукам.

— Едут! — вдруг вскрикнул он и, как мальчик, вскочил и побежал во двор, а затем и на улицу.

Через несколько минут он вернулся сияющий, счастливый.

— Все кончилось благополучно! — сказал он мне. — Да и операция была самая пустая. Вы уж извините меня...



Л. Н. Толстой на ярмарке среди крестьян. Село Ломчи Орловской губернии

А. Т. ЗЯБРЕВ

Алексей Титович Зябрев — яснополянский крестьянин, семья которого хорошо знала Толстого.

ОДНАЖДЫ, когда мне было около двенадцати лет, стерегли мы на Воронке лошадей, и всем нам явилась охота сходить к Льву Николаевичу, но не зная, как затеять, чтобы не без дела прийти к нему. А в это время Лев Николаевич записывал крестьян по желанию в общество трезвости. И надумал мы спросить книжечку и записаться в общество трезвости.

Приходим к дому и остаемся одни за другого, и всем нам сделалось чего-то робко. Немного мы препирались. Выходит к нам Лев Николаевич и спрашивает: — Вы ко мне пришли? — Да, к вам. — Зачем? — За книгами.

Тогда Лев Николаевич отворил нам дверь и говорит: — Идите сюда.

Мы позабыли свою робость и, как благае овцы, бросились к Льву Николаевичу, и каждый из нас старался поскорее пролезть в дверь. Провел нас Лев Николаевич в свой кабинет. Там стоял на три начала, как основные: «Учитель всегда невольным образом при преподавании употребляет ту методу, которая ему самому более удобна. Более удобная для учителя всегда менее удобная для учеников. Единственно хорошая метода та, которая удовлетворяет учеников...»

даний для народа.

ВО ВТОРОЙ раз я был у Толстого летом, и тут мне пришлось видеть своих детей, хотя теоретически тогда же развивал мне мысль, что любить следует «детей по духу, а не по плоти»...

Дело было так: Толстой был предупрежден о моем приезде и ждал меня, поэтому я был очень удивлен, когда, приехав к нему в назначенный час, не застал его дома. Я сказал об этом Лякею и назвал свою фамилию.

— А вас Лев Николаевич просил или невозможно обожать их, или, если вам угодно, пойти им навстречу: они здесь недалеко ходят вон по тому переулку, — Лякей указал: — А молодой графине профессор Склифосовский делает операцию сегодня. Так Лев Николаевич очень беспокоился, что долго не возвращаются, не утерпел и пошел в тот переулок: оттуда видна дорога...

Я пошел навстречу Толстому, думая о том, что быть может, в этой тревоге ему будет легче не оставаться одному. Но он уже входил на крыльцо, очень обрадовываясь мне, рассказал, чем встревожен, пояснил, что операция — самая ничтожная, нужно сделать какую-то опухоль величине с горошину, но что это все же его очень беспокоит. — Долго не едут! Но ждать еще хуже! — прибавил он. — Ну, что новенького? Я передал ему письмо, но он не стал читать его. Как он объяснил мне после, волнение помешало бы ему прочесть письмо с удовольствием, так как письмо было от человека, которого он очень любил.

— Сядем пока вот здесь, — сказал Лев Николаевич, вводя меня в комнату младшего сына, которая была рядом с прихожей, выходила окнами во двор и, следовательно, из нее можно было еще издали услышать треск экипажа, когда дочь будет возвращаться. Окно во двор было открыто. Толстой слушал меня и сам говорил очень внимательно, но внутренняя тревога сказывалась в его поблдевшем лице, в глазах, которые часто обращались к окну, наконец, в напряженности, с какой он постоянно прислушивался к отдаленным звукам.

— Едут! — вдруг вскрикнул он и, как мальчик, вскочил и побежал во двор, а затем и на улицу.

Через несколько минут он вернулся сияющий, счастливый.

— Все кончилось благополучно! — сказал он мне. — Да и операция была самая пустая. Вы уж извините меня...



Л. Н. Толстой со своими помощниками проверяет списки голодающих. Бешевка Рязанской губернии 1892 г.

КНИЖКИ ДЛЯ НАРОДА

внч нас прослушал, начал он нам рассказывать про какой-то пустой барабан¹, а мы слушали. Когда он кончил рассказ, то спросил: — Вы поняли? — Поняли.

— Так вот, расскажите мне по порядку то, что я вам рассказал, — и Лев Николаевич заставил рассказывать Гаврилу Цветкова.

Гаврила стал рассказывать, а мы слушали. Когда он что-нибудь пропуская в рассказе, мы кричали: «Пропустил». Лев Николаевич спрашивал, что он пропустил, и мы указывали его ошибку. Лев Николаевич говорил: — Молодцы, помните мой рассказ.

А когда мы не замечали в рассказе пропуска, то Лев Николаевич сам останавливал рассказчика и подкапывал нам пропущенное. Так мы и продолжали рассказ по очереди. А когда кончили, то Лев Николаевич подошел к полке с книгами и стал с каждой стопожки брать книги, спрашивая, что какие книги не читали. Нам хотелось взять по больше книжек, и мы говорили, что ни одной из них не читали. Книги были такие: «Два старика», «Упустишь огонь — не потушишь», «Свечка» и т. п. Тогда Лев Николаевич сказал:

— Я покамест уйду, а вы оставьте тут, я изберу из вас старосту, и он раздает вам те книги, какие вы не читали.

И Лев Николаевич указал на меня.

— Раздай им книги с этих полочек, кто какие не читал. Когда раздашь, то обождите меня здесь.

И сам вышел.

Оказалось, что мы этих книжек совсем не читали. Каждый из нас набрал по 36 книжек. Когда ожидали Льва Николаевича, то говорили между собой: — Как же нам сказать Льву Николаевичу о подпилке в общество трезвости? — Сказать да и все. — А кто будет говорить? — препирались мы между собою.

В это время входит Лев Николаевич и спрашивает: — Взять книг? — Взять.

даний для народа.

ВО ВТОРОЙ раз я был у Толстого летом, и тут мне пришлось видеть своих детей, хотя теоретически тогда же развивал мне мысль, что любить следует «детей по духу, а не по плоти»...

Дело было так: Толстой был предупрежден о моем приезде и ждал меня, поэтому я был очень удивлен, когда, приехав к нему в назначенный час, не застал его дома. Я сказал об этом Лякею и назвал свою фамилию.

— А вас Лев Николаевич просил или невозможно обожать их, или, если вам угодно, пойти им навстречу: они здесь недалеко ходят вон по тому переулку, — Лякей указал: — А молодой графине профессор Склифосовский делает операцию сегодня. Так Лев Николаевич очень беспокоился, что долго не возвращаются, не утерпел и пошел в тот переулок: оттуда видна дорога...

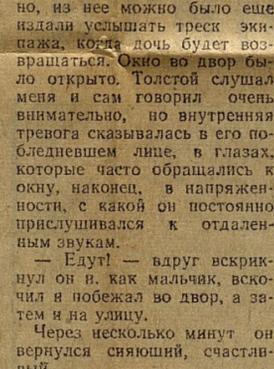
Я пошел навстречу Толстому, думая о том, что быть может, в этой тревоге ему будет легче не оставаться одному. Но он уже входил на крыльцо, очень обрадовываясь мне, рассказал, чем встревожен, пояснил, что операция — самая ничтожная, нужно сделать какую-то опухоль величине с горошину, но что это все же его очень беспокоит. — Долго не едут! Но ждать еще хуже! — прибавил он. — Ну, что новенького? Я передал ему письмо, но он не стал читать его. Как он объяснил мне после, волнение помешало бы ему прочесть письмо с удовольствием, так как письмо было от человека, которого он очень любил.

— Сядем пока вот здесь, — сказал Лев Николаевич, вводя меня в комнату младшего сына, которая была рядом с прихожей, выходила окнами во двор и, следовательно, из нее можно было еще издали услышать треск экипажа, когда дочь будет возвращаться. Окно во двор было открыто. Толстой слушал меня и сам говорил очень внимательно, но внутренняя тревога сказывалась в его поблдевшем лице, в глазах, которые часто обращались к окну, наконец, в напряженности, с какой он постоянно прислушивался к отдаленным звукам.

— Едут! — вдруг вскрикнул он и, как мальчик, вскочил и побежал во двор, а затем и на улицу.

Через несколько минут он вернулся сияющий, счастливый.

— Все кончилось благополучно! — сказал он мне. — Да и операция была самая пустая. Вы уж извините меня...



Л. Н. Толстой со своими помощниками проверяет списки голодающих. Бешевка Рязанской губернии 1892 г.

КАКАЯ ЖИВОСТЬ ВПЕЧАТАНИЙ...»

Действительно, оно его порадовало. Он даже прочел мне вслух некоторые отрывки... Мы вышли на противоположный берег и скоро были в «Нескучном», с его ценными аллеями. Толстой говорил, что последние дни редко бывает дома, посещая в тюрьме заключенных (из молодежи), на что получал разрешение. Он находил их весьма интересными и некоторых изобильно симпатичными. Рассказывал, как не отдажды ему приходилось заговариваться с ними дольше установленного срока. Во время этой именно прогулки он развивал мне мысль о том; что следует больше любить детей по духу, а не по плоти...

В его словах было что-то мечтательное, милое, нежно-поэтическое, чего я прежде никогда не замечал в нем. Он совсем не принадлежал к мечтательным и мягким характерам. Но на этот раз проявилась способность его богатой природы к этому настроению: ведь это был особенный день, когда благополучно окончилась его тревога, когда он получил письмо от милого, хорошего человека. Наконец, была чудесная весна, соловья пели кругом.

— Будем здесь пить чай, — сказал Лев Николаевич, когда мы достаточно нагулялись и наговорились в даже немножко устали. — Здесь есть самоварница, и у одной я частенько пью здесь чай. Очень интересная старушка... Мы возвратились домой, когда уже начинало темнеть... На другой день я опять был у Льва Николаевича. Вместе со мной пришел известный художник Прянишников. Приняли нас двое из детей Толстого, сообщив, что он оканчивает корректуру отдельного издания «Анны Карениной» и сейчас выйдет.

— Обыкновенно эти корректуры просматривает мама, — говорили молодые хозяева, занимая нас разговорам, — но сегодня пришлось их делать самому отцу, а мама поехала ко вешошней. Скоро вышел и Лев Николаевич. Он улыбнулся и сказал полухуату:

— Вот сейчас должен был

— Ну вот, записывайся каждый из вас, чтобы вина не пить и не покупать и не угощать других.

Когда мы подписывались, Лев Николаевич сказал:

— Ах, как я вам благодарна, Лев Николаевич, — говорила она, — за вашу «Анну Каренину»! Я всегда была самого дурного мнения о влиянии высшего света на молодых девушек! Я не хотела их вывозить до тех пор, пока они не установятся в своих взглядах и привычках. Но когда прочла ваш роман, я совершенно изменила свое мнение и хочу вывозить их нынешней зимой...

Он громко засмеялся и снова спросил нас:

— Ну, разве я не прав был, сказав, что этот роман написал очень дурной человек?..

Через несколько минут Лев Николаевич заявил, что в такой вечер жаль сидеть в комнате, и повел нас в сад.

Здесь мы долго ходили по густой аллее, причем Толстой, увлекаясь разговором, иногда шел, повернувшись спиной вперед, и один раз чуть не упал, загнувшись за новенький бордюрок дорожки.

Я не решаюсь передать здесь чисто литературной части этого разговора, в котором Лев Николаевич делал меткую оценку и характеристику некоторых современных писателей. Быть может, он не желал бы, чтобы его мнения об этом были напечатаны.

Я спросил его мнение о Золя, и он сознался, что после «Нана», которой не мог дочитать, так как она возмущила его, он не читает этого романиста. Я похвалил ему «Углекоров»,¹ сказав, что во времена «Нана» многое изменилось в романах этого писателя. Толстой выразил живое намерение прочесть новый роман.

Вот после этого я видел во второй раз, как плачет этот удивительный человек. Он стал нам рассказывать самый простой случай. Есть у них в деревне дужок, где много фиалок, и вот он со своей семьей собирал эти фиалки. В это время прошел нищий мальчик-крестьянин с пустым мешком на плече.

— Прошло не знаю сколько времени, — продолжал Толстой, — но, должно быть, немало. И вот мы увидели опять того же мальчика. Он возвращался обратно, маленький, истощенный, усталый. Мешок его был наполнен ломтиками хлеба, собранными по деревням. Он изгибался под его тяжестью и едва передвигал ноги! А мы все это время фиалки собирали!

Крупные слезы покатались по его лицу. Он смолкнул, и долго мы ходили по аллее молча, не решаясь нарушить его молчаливого груста. Какая огромная яркость и живость впечатлений должна быть у этого человека! И какая сила чувства, какая нервность!..

¹ Речь идет о романе Э. Золя «Жерминаль».



Л. Н. Толстой со своими помощниками проверяет списки голодающих. Бешевка Рязанской губернии 1892 г.

— Я покамест уйду, а вы оставьте тут, я изберу из вас старосту, и он раздает вам те книги, какие вы не читали.

И Лев Николаевич указал на меня.

— Раздай им книги с этих полочек, кто какие не читал. Когда раздашь, то обождите меня здесь.

И сам вышел.

Оказалось, что мы этих книжек совсем не читали. Каждый из нас набрал по 36 книжек. Когда ожидали Льва Николаевича, то говорили между собой: — Как же нам сказать Льву Николаевичу о подпилке в общество трезвости? — Сказать да и все. — А кто будет говорить? — препирались мы между собою.

В это время входит Лев Николаевич и спрашивает: — Взять книг? — Взять.

даний для народа.

ВО ВТОРОЙ раз я был у Толстого летом, и тут мне пришлось видеть своих детей, хотя теоретически тогда же развивал мне мысль, что любить следует «детей по духу, а не по плоти»...

Дело было так: Толстой был предупрежден о моем приезде и ждал меня, поэтому я был очень удивлен, когда, приехав к нему в назначенный час, не застал его дома. Я сказал об этом Лякею и назвал свою фамилию.

— А вас Лев Николаевич просил или невозможно обожать их, или, если вам угодно, пойти им навстречу: они здесь недалеко ходят вон по тому переулку, — Лякей указал: — А молодой графине профессор Склифосовский делает операцию сегодня. Так Лев Николаевич очень беспокоился, что долго не возвращаются, не утерпел и пошел в тот переулок: оттуда видна дорога...

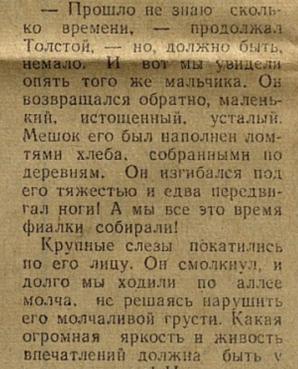
Я пошел навстречу Толстому, думая о том, что быть может, в этой тревоге ему будет легче не оставаться одному. Но он уже входил на крыльцо, очень обрадовываясь мне, рассказал, чем встревожен, пояснил, что операция — самая ничтожная, нужно сделать какую-то опухоль величине с горошину, но что это все же его очень беспокоит. — Долго не едут! Но ждать еще хуже! — прибавил он. — Ну, что новенького? Я передал ему письмо, но он не стал читать его. Как он объяснил мне после, волнение помешало бы ему прочесть письмо с удовольствием, так как письмо было от человека, которого он очень любил.

— Сядем пока вот здесь, — сказал Лев Николаевич, вводя меня в комнату младшего сына, которая была рядом с прихожей, выходила окнами во двор и, следовательно, из нее можно было еще издали услышать треск экипажа, когда дочь будет возвращаться. Окно во двор было открыто. Толстой слушал меня и сам говорил очень внимательно, но внутренняя тревога сказывалась в его поблдевшем лице, в глазах, которые часто обращались к окну, наконец, в напряженности, с какой он постоянно прислушивался к отдаленным звукам.

— Едут! — вдруг вскрикнул он и, как мальчик, вскочил и побежал во двор, а затем и на улицу.

Через несколько минут он вернулся сияющий, счастливый.

— Все кончилось благополучно! — сказал он мне. — Да и операция была самая пустая. Вы уж извините меня...



Л. Н. Толстой со своими помощниками проверяет списки голодающих. Бешевка Рязанской губернии 1892 г.

КАКАЯ ЖИВОСТЬ ВПЕЧАТАНИЙ...»

Действительно, оно его порадовало. Он даже прочел мне вслух некоторые отрывки... Мы вышли на противоположный берег и скоро были в «Нескучном», с его ценными аллеями. Толстой говорил, что последние дни редко бывает дома, посещая в тюрьме заключенных (из молодежи), на что получал разрешение. Он находил их весьма интересными и некоторых изобильно симпатичными. Рассказывал, как не отдажды ему приходилось заговариваться с ними дольше установленного срока. Во время этой именно прогулки он развивал мне мысль о том; что следует больше любить детей по духу, а не по плоти...